



www.cirkolimp-tv.ru

п о э т и ч е с к а я
с е р и я

Татяна Ризденко

Стометровка



Самара 2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Р 49

Р 49 РИЗДВЕНКО Татьяна

Стометровка: стихи. –
Самара, 2013 – 68 с.

Поэтическая серия «Цирка «Олимп»+TV

Редакционный совет серии:

Лев Рубинштейн (Москва)
Владимир Друк (Нью-Йорк)
Ежи Чех (Познань)
Владимир Тучков (Москва)
Николай Байтов (Москва)
Дмитрий Веденяпин (Москва)
Света Литвак (Москва)
Александр Макаров-Кротков (Москва)
Илья Кукулин (Москва)
Татьяна Риздвенко (Москва)

Редакция серии:

Сергей Лейбград
Виталий Лехциер
Ирина Саморукова
Ирина Тартаковская

Куратор выпуска:

Виталий Лехциер

Издано при поддержке

Администрации городского округа Самара

ISBN 978-5-906607-09-6

© Риздвенко Т., 2013

© Цирк Олимп+TV, 2013

Неспешность и скорость, Или домашнее задание самому себе

Новая, по счёту третья книга Татьяны Риздвенко с первых же текстов дарит читателю, уже знакомому с её творчеством, радость узнавания специфической манеры письма – легкой, ироничной, умной, включающей быстрые грамматические кульбиты даже внутри конвенциональной формы и постоянные стилизаторские реверансы в сторону высокой классики, обязательно перемежающиеся разговорными оборотами и просторечиями. Вот они характерные риздвенковские концовки, неожиданные, жёсткие и, как правило, резко объявляющие конец всяким там сантиментам, которые до того плавно и охотно изливались на бумагу; после всяческих пристрастных наблюдений и размышлений они почти цинично показывают, как все обстоит на самом деле:

*...Всё, уводят малыша.
Поюродствовали, ша*

или

Жизнь продолжается и скачет.

Все морщатся.

Никто не плачет.

Когда периодически наталкиваешься на «моллюском бескожурим», «озираемся зеркал», «совершается массаж», «при теле состоите» – и это только в рамках одного стихотворения! – когда читаешь про «лица пирожковые» и про то, как «три старухи правят пирожками», которые «смуглятся и круглятся», а тут ещё «Мне не хотелось жизнью знать чужих», «каникулки», «зверики» или «не захотел существовати», то понимаешь, что Риздвенко осталась верна себе, своим собственным стихам ещё начала 90-х годов. Стихам, в которых внезапные намеренные нарушения падежей, хулиганские окончания и мимоходом сотворенные определения/существительные служат не только раскрепощению

игровой речевой стихии, не только усмешке, улыбке или, наоборот, слезе умиления, не только даже анимации встречающихся в повседневности предметов, но и подчас серьезным поэтическим формулам, тем более точным, чем изящней в них оказывается сдвинутой грамматическая форма.

*Как смертен человек и хрупок,
как много в нём прозрачных трубок...*

Вот если бы не это «как смертен», если бы не это наречие степени, усиливающее то, что, с формальной точки зрения, такому усилению не поддаётся, мы бы не имели такой точной и пронзительной антропологической формулы, – играючи, на одном еле заметном сдвиге, достигающей невероятного эмоционального попадания в вечную экзистенциальную тему.

Читателю, которому предстоит впервые соприкоснуться с поэзией Татьяны Риздвенко, следует знать, что эта поэзия сама охотно рассказывает о себе, о том, что и как в ней устроено. Одно из стихотворений, в котором автор не первый и далеко не единственный раз описывает себя как наблюдателя-коллекционера, которому очень хочется похвастаться перед читателями-зрителями всем, что удалось подсмотреть, начинается строчками:

*Наблюдательность и нежность,
острота и влажность.*

Перед нами ключевые авторские категории, ответ на вопрос о том, кто ты, индивидуальное априорное устройство поэтического опыта Татьяны Риздвенко. «Я наблюдатель с линзой в каждом глазе», «Такая нежность, нежность к миру». Эта нежность в третьей книге получает свою эмпирическую подпитку, своё жизненное обоснование в опыте материнства, вообще в сфере частного, релевантности которой распространяется почти на все тексты книги. Частная жизнь, семья, дети, муж, друзья, которых помнишь и ищешь, детские площадки, каникулы, «заповедник радости с Пухом и Пятаком», азбука русской поэзии, десятиклассники Олейников, Введенский, Хармс, «черета тихих наслаждений», перцептивных событий не только, кстати, визуальных, когда жемчужно-розовая зима спасает от канцелярского

существования или приковывает внимание «детское лицо в толпе», но и акустических, когда слышен голод рыб в аквариуме, как они «целуют плёнку воздуха, / чмокают через толщу воды», или случайно услышанный скандал в квартире ниже, – все эти события, включая даже «запах несбывшейся смерти» рядом с местом ДТП, с одной стороны, формально-конstitutивны для лирического сознания, а с другой – вызывают отчётливое ощущение лично завоёванного опыта, подлинного и совершенно реального переживания. Это не редукция мира до размеров детского садика, не эскапизм или невнимание к социальным и прочим мерзостям нашей жизни, это естественная аксиология частного вплоть до удивительной возможности антропологического расширения опыта взрослого человека до размеров его детскости.

Разумеется, все эти вещи звучат сегодня поэтически всерьёз только потому, что автор никогда не устает имманентным образом избегать всякого пафоса, что его «ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху» сопровождают любые восторги и признания. Потому что о частном автор говорит, находясь в постоянном стилистическом и содержательном диалоге с поэтической традицией, так что даже «рожденный командиром, / но не убитый на войне» дед Татьяны Риздвенко лежит «на двухметровой глубине» не где-нибудь, а «Меж Заходером и Сапгиром». И, конечно, потому что книга демонстрирует то метрическое разнообразие, те подвижность и свободу различных форматов говорения, которые полностью адекватны актуальному постконцептуальному состоянию русской поэтической речи, той неизбежной проблематике (не)возможности высказывания, которые Риздвенко давно интериоризировала в практику своего письма.

Однако есть тут, как мне кажется, и более серьезная тема. Книга называется «Стометровка»:

*«Вот стометровку школьницы бегут...
Порывистое это загляденье...».*

Но это не только стометровка школьниц, это стометровка самого поэта, – слово, вынесенное в заголовок книги, невольно говорит нам нечто и о лирической героине Татьяны Риздвенко, причём говорит тем красноречивее, чем острее оно, на первый взгляд, контрастирует с эксплицитным содержанием книги. «...главное же нас- / лаждение –

неспешность», – говорит о себе автор, как бы добавляя к своей привычной оптике ещё одну категориальную пару-проблему неспешность/скорость. И, действительно, эта неспешность в стихах Ризденко разлита везде: в притчеобразной феноменологии яблока, в смехе, без которого «как кегля пустая», в самокопании, попытках разобраться в себе, в чужих влияниях, в натуральном, чувственном и в то же время акмеистически утонченном и метафорическом чревоугодии дыней, черешней, блинами, тортом. А вот, например, неспешность в подготовке к наблюдению:

*Проснусь с утра, расправлюсь по утра.
Настрою линзу, тряпочкой протру,
и диафрагму чёрную расправлю.
Я начинаю ласковую ловлю
событий, человеков и времён.
Меня поймут, кто болен и влюблён.*

И вот тут вдруг появляется:

*Жизнь бьёт ключом, как бы она
нам не оставила обломки.*

И что ни делай теперь, сколь ни тешь себя прелестями частной жизни, сколь ни «организовывай день наоборот», «работа, бденье, встречи, тра-та-та», все равно «и так, и сяк, нам ничего не светит». Подспудный страх остаться не у дел, который, наверно, знаком каждому, страх самостирания, синдром выгорания, неуклонный процесс саморассеивания. А ведь:

*«по нам пройтись резцом и шкуркой –
и нам бы не было цены!»*

Ризденко говорит в этих строчках не «мне», а «нам», видимо, адресуясь поколению, возрасту, состоянию человека, когда настало время «самих себя тащить-бурлачить», когда

*«Всё сгодится, чтобы растопиться,
раскопечгарить в себе
жизнь, интерес».*

Стометровка, таким образом, – это метафора самоаффектации, необходимого скоростного экзистенциального рывка. Внутренний сюжет книги – приведение себя в чувство, забота о себе в эллинистическом смысле. Стометровка – это домашнее задание, которое автор вменила сама себе и записала его в собственном дневнике. Книга, которую ты, читатель, держишь в руках, и есть прекрасное выполнение этого задания.

Виталий Лехциер

☞

1.

Вспышка света в темном ц:
детское лицо в толпе.
Смотрит, вертится, зевает,
шевелится, изнывает.
Яркий сполох, нежный блиц
среди стоунхеджа лиц,
среди сотен мертвых глаз,
сжатых ртов и желваков,
пальцев тыкающих кнопки.

...выраженьем на лице
он как лист бумаги писчей.
Не исписан, не засален,
никакой сторонней пищей
не заставлен, не завален
и пока не затвердел
скулами и желваками
всяких глупостей и дел.

...Всё, уводят малыша.
Поюродствовали, ша.



О, яблоко, хватательный рефлекс.
Приманочка, наживка, искушенье...
Мы с животом проходим вдоль тебя
сквозь линзу уменьшенья.
Мне хорошо, я только лишь хочу
сидящую не в мякоти, но в плоти,
занозу ожиданья и тоски
изъять — чтоб не успела исколоти...
И раньше, чем отвалится само,
сорвётся с верхотуры, с плодоножки,
ударится,
заплачет,
закричит —
принять его, родимое, в ладошки.



Мне тихих наслаждений череда
отпущена: прогулка, сон, еда,
опять прогулка, главное же наслаждение –
неспешность.
Шаг, поворот, глоток, смеженье век –
всё медленно, подробно и вовек
не повторится в этом воплощенье...
Я тишина, я сон, я человек –
прозрачность, понимание, стущенье...

Собиратели нежности
собирают, подбирают
крохи
ничтожные
рисинки, ворсинки, горохи,
из чужого выпавшие решета.

Всё согдится, чтобы растопиться,
раскочегарить в себе
жизнь, интерес.
Этот, как его, жизненный тонус.

Мейл теплее
на пару градусов, чем всегда.
Раскатистое «доброе утро!» охранника –
не такой уж и зверь
отпирает нам дверь
казённого дома.
Когда улыбается,
похож на Хэнкса, Тома.

И всё равно холодно.
Косточки зябнут,
стразы на кофточке
индевеют,
дыбом тонюсенькие волоски, –
не хватает запала, мало тепла,
чтоб распушить крыла,
вылупить из себя
белоснежное, нежное, тёплое,
с солнечным кружком
в каждой радужке.

...В каждом жесте и в каждой горсти –
чтоб не скрежет жести,
а нежности, нежности
сколько влезет!!!

...Хорошо заживём!
На желтке радости
будут замешены наши дни.
Долго простоят –
на века
одного такого хватает желтка.



Так яблочно – почти не проникает
сквозь эту яблочность ни свет, не пересвет.
Источник света – яблоко само.
Источник влаги – яблоко само же.
Из тонких пор выходит нежный воск –
на самое себя наводит лоск.
Всё яблоко – от хвостика до пяток –
довольства целомудренный придаток.

И эти глянец, нега и пыльца
в макушки проникают и сердца...
Все веселы, и на любой конфорке
пылает газ, на голубом газу
пылает медный таз, а в том тазу
мурчат варенья, булькают повидла...
Все по уши в антоновке – видать
поэтому-то никого не видно...

Так яблочно, так прочно и тепло.
Так лето неожиданно прошло...



...Коль яблоко взялось коричневеть –
его уже не остановишь.
Срезаешь четверть, отрезаешь треть –
всё, не спасти – оно летит в корзину.

Хотя проехало со мною Украину –
почти с Чернигова –
и кус изрядный до Москвы,
в багажнике светилось и лежало
(и где, видать, бока крутые отлежало).

А вот теперь его не стало...

Но ни к чему намеки тут и параллели.
Да, выкинули!
Жаль, не съели.



Авантюризма капля, гран
мне добавляется в стакан.
Шипучка белая со дна
встает на цыпочки у кромки.
Жизнь бьёт ключом, как бы она
нам не оставила обломки.

Чем завиральнее сюжет,
тем тщательнее он прописан.
Мистификаций нежный свет
уже разлился по кулисам.
Нам много лет. Нам мало лет.
И в этом есть издёвка рока:
нам девяностые – привет –
условно вычтены из срока.
Не верь, считай всё это дуркой,
но, девочки и пацаны,
по нам пройтись резцом и шкуркой –
и нам бы не было цены!



Бессонница как норма – привыкай.
Булавки в веки томные втыкай.
Организуй свой день наоборот,
придай ему обратный распорядок:
где сон положен – бодрость, суета,
работа, бденье, встречи, тра-та-та.
А день белёсый как зелёный чай
разбавленному сну предназначай.

Заменим белый свет на чёрный свет.
А, собственно, а почему бы нет.
Ведь разницы никто и не заметит –
и так, и сяк нам ничего не светит.

Саша, Оля, Орлов и Романова – у каждого в жизни свои,
сама нарицательность, первые в каждом-любом МАИ.
Мой Саша – редактор для девочек журнала, красавчик, еврей.
А Оля – помощник бренд-менеджера, в два раз его крупней:
выше, умней, образованней, а главное, проще, добрей.
...Встречаться необязательно, но я скучаю по ней.
А Саше уже к 50-ти... Так славно пилось у них
с Ленкой, на Юго-Западе. Ничего об этих двоих...

Отыскать – задача нетрудная... Почему-то вот не ищю.
С тихой ласковой отстранённостью вспоминаю их и грущу.
...Саша – ранние девяностые, литераторы, пьянство, дым.
Оля – как же, самый миллениум, бренды, слоганы –
поштормим?

И штормило, мотало, стучало, шлифовало лицом о брег...
Вроде Оля не стала сукою, да и Саша всё человек.
Жизнь-равнина, а Оля с Сашею – вешки темные на снегу,
в общей плоскости, по-над рашею, я их в памяти берегу.

Оля Романова – имя безликое.
На самом деле – величественное,
царственное.

Ищю Романову Олю.
Зову по имени.
Откликаются десятки, сотни – ноль, ещё ноль –
Романовых Оль.

Имя простое, пресное,
как вода.
Но, как говорила другая девочка – Лиза Родионова –
(чувствуешь разницу? сходство?)
ничего нет вкуснее кипячёной
комнатной температуры
воды
ночью
после возлияний.
Сухой распухший язык,
неба горящий наждак.
И тут эта манна, это благо,
эта влага.

Олю Романову тщетно
ищю,
несильно грущу.

Хотя этой пресной глади,
этой стати, тихой улыбки,
мягкости и когда надо твёрдости
(к сходству с карандашом ещё мы вернёмся)
смеха журчащего
не хватает
мне в настоящем.

Слишком всё сложно.

Оля, Оля, верхнее ля.
Не лярва, не лялечка,
просто хорошая девочка.

Простая, как карандаш,
которого нету... нет!..
под рукой, когда нужно записать...
да где ж он... чёрррт!..
был тут, валялся,
лежал... записать
что-то
нечто
бумажное, важное, нужное.



Всё станет предметом стиха.
Всё то, что шумит и стиха-...
полно драгоценного смеха,
шелковистого и мехового.

Ох, какая потеха!
Что же в этом смешного?

Хохоча, мы сидели и шли,
и лежали, и только когда
голова разрывалась от боли,
лишь тогда не смеялись, не боле.

И когда под наркозом лежали,
не смеялись, а тихо дрожали
и хирурга слегка раздражали...

И дитя первый раз в самолёте –
оторвался от самой земли,
рассмеялся, от смеха зашёлся,
хохотал, пристегнутый ремнём,
невесомостью шумной снедаем,
меж зазором и краем.

2.

С чёрной кромки апрельской земли
в смехоте, дурноте и икоте
мы снялись, сорвались, поплыли.

Пылкий смех меж локтей и лодыжек,
мелкий смех и мурашки в паху.
Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху -
о мой смех, мой щекочущий ёжик.

Живы этим разжиженным смехом,
мы открыты ветрам и потехам.

И когда приземлимся, коснёмся,
отстегнём пояса и ремни,
ты смеющийся стриженный ёжик
к полу пыльному тихо пригни.

Я без смеха как кегля пустая,
ты без смеха обычный, простой.
К аппарату весёлого смеха
подключён наш мотор холостой.



1
...Совсем уже взрослый мальчик,
а путает *ц* и *ч*,
читает: грация,
зайчик...
Не любит читать вообще!
В книгу не тычет пальчик!

2
...Азбуки в самом конце
редкоземельное *ц*.
И того далече
нечернозёмное *ч*.
Забористые *ш* и *щ* —
дальше некуда, вообще!

3
Ещё водится в тех краях
нимфа лампочки,
фея вольфрама, —
эфемерная фифа *ф*.
Но это другая тема.

Посвящается Ф

Странно начинаться на букву Ф.
 Внебрачная неметчина, чужая вотчина.
 ...Стоять тебе в конце букваря, упёрши руки в боки.
 Ф-ф-ф-ф...
 Во не хватало мороки
 отыскивать в долгом списке.
 Ведь столько прекрасных букв,
 простых и не очень,
 разной степени удалённости,
 так нет же.
 Так ведь надо же.
 Угораздило же родиться
 на букву Ф.
 В середине конца, на запасном пути,
 куда и идти-то страшно,
 одному, без фонаря, без собаки.
 Соль изгнанничества на губах — не поэтому ли?
 Поэтому, поэтому.
 Поэтому
 поэт
 Фет
 Афанасий Афанасьевич.
 И поэтому тоже.

Заноза зависти, восторг и укоризна.
 Я по-чужому думаю, дышу,
 завишу и пишу.
 И каждой подлой порою внимаю.
 И посторонний облик принимаю...
 Мне мука постороннего письма
 больна и разрушительна весьма.
 Полёт чужой органики и клеток
 зачем так обольстителен и меток?
 ...Мне бы остаться, чем я есть,
 и несть
 себя как вашу честь!
 Чувствительность, действительность нагая,
 меня смущая и чужих пугая,
 зачем мне папой-мамою дана...
 Я молнию разверзну на боку
 и горделиво выгоню наружу
 всё, что в себе чужого обнаружу,
 и затопчу, и в лужу уроню.
 С меня достаточно! — с достоинством воскликну.
 А может быть,
 я так не поступлю.
 Освоюсь, успокоюсь, попривыкну.



Всех заразил, всех перепортил,
соевым соусом перемазал.

Принесся с востока восточным экспрессом.

Знаем, знаем мы эту их застенчивость,
этот салат из морской капусты.

...Вынимаю, как волосок из супа,
чужую прелесть, усмешку чужую.
У меня и своего добра хватает
(уговариваю себя, утешаю).
Укорачиваю, уменьшаю.
Ужо тебе обезьянничать,
подхватывать юркие вирусы,
а потом давать сбои, подвисать и глохнуть.
От чужих стихов размякать и пухнуть...

Растворишься так, не успеешь ахнуть.

Чтоб потом снова в соляном растворе,
в соляном растворе, в Японском море.



Телесность пуговок и пряжек,
резинок, вытачек и проч.
Когда всё это совлекаем,
всё это скидываем прочь,
стоим моллюском бескожурим,
робеем, жмуримся, дрожим.
Не знаем, что нам с этим делать
великолепием, стыдом.
Стоим, белеем, розовеем,
себя стесняемся и млеем,
и озираемся зеркал...
Итак, мы подошли к черте.
А здесь — привычка к наготу.
Её здесь мнут и изучают,
а прочего не замечают.
Здесь не обязан быть трельяж,
здесь совершается массаж.
Здесь вы при теле состоите,
как пёс смышлённый при слепом.
Как переводчик при заезжей
звезде в сиянье золотом.



Плечи – не узкие, не худые,
а именно что хрупкие, нежные.

Даже, можно сказать, тонкие.

Поразительно, но и они
не гарантируют женского счастья.



Вот стометровку школьницы бегут...
Порывистое это загляденье –
мелькание локтей, коленок, пят,
девчачий пыл, горячий школьный пот,
и нету больше никаких забот,
чем эти наблюденья...

Бегут они, худышки и толстушки.
Мелькают груди, плечи и лодыжки,
кроссовки, кеды, белые футболки,
уже не пионерки – комсомолки
могли бы быть, не будут никогда.

...Сполна испивший,
бывший пионером,
следит полёт их жилистый физрук
с трепещущим в руке секундомером –
наставил и берёт их на испуг.

Неполный финиш и нестрашный суд.
Физрук доволен, переполнен невод.
Внушает гордость твёрдый жаркий уд!
Стыдливо никнет вялый бледный неуд...



Кому омела и чабрец,
кому багульник и морошка,
как, скажем, бедному АС,
чью память светлую не трожь-ка.

Кому – мимозы жалкий пух,
действительный в течение суток,
а повезёт – в течение двух,
но после он бывает жуток;

и дыни скифская душа
чья бледно-жёлтая начинка
протяжной сладостью дыша –
нечайной радости причинка.

Пушистый сахар, мёд, нектар,
наивной прелести замашки
носить как скромный божий дар
в петлице, сумочке, кармашке...

Настой любви и сахарозы
вскипает, булькает, бурлит,
и бдит младенчество мимозы,
и зрелость дыни длит и длит.



Если яблоко – строгость и польза,
то черешня – бескрылый угар.

Зарываться в неё и бросаться,
объедаться, глотать не жуя.

Она ластится, льнёт, обступает.
Громыкает, смущает, манит.
Всё иное назад отступает,
а черешня ликует, царит.

...Глянть – всё в косточках. Что это было?
Летний обморок, морок, июль.
Вытри красное...
Всё, неопасно.
Грешным делом... Бывает. Наплюй.



Как мы блины, как нас блины, как я...
Как ели мы друг друга – я и блин.
Друга в друга заворачивали масло,
икру, сметану, сердце, пикули.

И стопками, как писчую бумагу,
круглы и нескончаемы блины,
нам все несли...

Увидишь блин – и он тебя зовёт,
он катится к тебе, а ты навстречу.
Бери и ешь, себе я говорю.
Достаточно! – сама себе перечу.

Нам б простоять,
пробиться, продержаться,
и прожевать, и вытереть уста.

Три дня осталось
до Великого поста.



Меж Заходером и Сапгиром
на двухметровой глубине
мой дед, рождённый командиром,
но не убитый на войне, –
ни на войне укромной финской,
ни на прославленной второй, –
лежит мой дед в могиле низкой,
с непосевшей головой.

Весёлый, грозный, громогласный,
большой, великий и ужасный.
Пловец, ныряльщик, командир,
гурман, задира из задир.

Лежит мой дед во глубине.

во мне

горячей тенью,
не подлежащей тленю,
тепла и силы очажком,
краугольным
камешком.

Вот Манделъштам. На букву М,
в поэзии он ближе мамы.
Хоть Пастернак на П, – родство
неочевидно между нами.

Что ни открой, где ни копни:
все – от знакомцев до родни.

Возьмём в кузены Кузмина,
в друзья хотим До-бы-чи-на...

А это наш десятый класс –
Олейников, Введенский, Хармс.

В начале кто царит – на А –
шаль, плечи, в профиль голова?

А кто там – в Болшево – в конце –
мать, дочь, сестра в одном лице
– в молчанье замер на крыльце –
на Ц?

Поцеловала машина
другую в висок.
У той отлетел небольшой кусок.
Медленно, как в кино, выходят ихние мужики.
Ме-е-е-едленно сближаются.
Сейчас поцелуются,
или хотя бы обнимутся.

В паузе: реклама страховой компании РЕСО.
Тормози РЕСко.
Езди РЕСво.
Жить интеРЕСно!

А машины у обоих красные,
лица красные.
И росту одинакового, примерно метр семьдесят пять.

Они всё идут.
Я всё смотрю.

А в воздухе – у меня нюх на такие вещи –
запах несбывшейся смерти.
Амбра, пачули, подкисленный металл, и еще нота неопи-
сываемая –
типа су-
точных щей.

...Так что взяли бы, да и поцеловались.
Чем орать и щёлкать кнопками...
Чем меряться плечьями.

Ничья, понимаю, ничья.

Мускус несбывшейся смерти тает, нестойкий.

Морок меня отпускает.

Продолжаю свой путь на работу.



Женщина объедается тортом.
За маму.
За папу.
За бессмертную душу.
Пусть любят, какая есть –
с розанами,
цукатами,
слоями и перекатами.
– Ам, – за свободу.
– Ам, – за красоту, как её вижу.
– Ам, – за то, что живу как могу.
– Ам, – за смертную оболочку,
скоропортящуюся начинку,
которой пора в починку.
А это я съем
за стылую побудку в 7.
А это я не могу не съесть
за приступ свободы в 6.
О, как изливается этот нарыв
в обеденный перерыв.

За всю эту муку лукавый
чёрт
ей выпекает
торт.
С начинками,
с чертовщинками.
Пока не съешь, из-за стола
не выйдешь!!!
Будешь сидеть
над тарелкой
до второго пришествия.
До полного сумасшествия.



Вскакивает ночью.
Надо, говорит, покормить рыбок.
Они, говори, голодные, я же слышу.
Только задам им корму,
спи.

И действительно.
Если заставить город замолчать,
соседей не дышать,
соседскую машину – заткнуться,
можно услышать
тихое такое причмокивание,
шлепочки.
Типа как лопаются крошечные пузырьки.
Рыбы целуют плёнку воздуха,
чмокают через толщу воды.

...Мелкие твари,
рыбные семечки.
Так, ерунда какая-то.

Но ведь всегда найдётся кто-то,
кто поймёт и услышит.
Вот что меня поражает.

В больнице одна женщина, кстати, 38-летняя бабушка,
звонила домой по мобильному, спрашивала мужа:
– Как Маша? Серёжа? Как барбусы, гуппи?
Как сомик, не задирает ли он меченосца?

Даже удивительно,
на что некоторые люди расходуют мобильную связь.



Солнце вывалилось из-за туч.
Как будто его выпихнули.
Дали пинка под зад.

Вытекло, как глаз на щёку,
залило околоток
жалобным светом.

Так оно и есть.
На рассвете стреляли в небо из пушек.
Выпустили пленное
осипшее солнце.
Не, не пленное –
больное, карантинное,
не в лучшей форме.

Вытолкали взашей
оттуда сюда.
– Пшшло!

...покорно струило свет
из подбитого глаза
на наш пышный праздник.
Ладно, чего уж там,
ради такого раза,
ради такого случая
не грех и помучиться.

Зато наш праздник
был нарядней и праздничней,
чем другие аналогичные праздники
в других городах и весях.

А те
как дураки
сидели в полной темноте.



Хрустальный куб, налитый дымом,
где заблудившееся солнце
висит и жалобно кричит,
и просит взять его на ручки.
Надсадно кашляют вороны,
вокруг торфяники горят.
исходят дымом ядовитым,
нарядным дымом розоватым.

Прилетали лягушата,
поливали из ушата.
Прилетали два курчонка,
поливали из бочонка.
Гибли бабочки без счёта
за коварное болото.

Катастрофической красы,
нечеловеческой печали
лежит мой город на ладони,
увитый дымом розоватым.
Экологической тревоги
мне вкус покровы холодит
и пепелит сухие губы,
и я уже не сомневаюсь
что мы действительно умрём.

Сентябрь

Что день убывает – меня убивает.
Хотя ещё света полны закрома,
хотя как до смерти ещё дотемна,
но день убывает,
и это хана...

...Но
часы переведут
и хане – капут!

☞

Такая зима наступила жемчужная, розовая,
что мы очнулись и увидели зиму.
Встрепенулись, окунули в неё мониторы,
свои распаренные моторы.

Величественная стоит, как упрекает,
овчиной тёплой облакает,
обдаёт холодом гигиены,
синим стеклом забивает вены.

А вот разлеглась поперёк маршрута,
попеняла, пожурила, дала по пальцам.
Дитя разгорелось щеками, отец его шмыгает носом.
Всё парализовано красотой момента.

Ночами так восхитительно завывает.
Как будто бы там происходит сказка,
зло подминает добро, звякает, злится.
Но добро победит, куда оно денется.

Скажи спасибо за эти сказки,
за гуд пронзительный, протяжённый.
За то, что сидишь канцелярский, жёсткий,
как жёлтый клей по краям засохший,
а взгляд нездешний, замороженный.



Наблюдательность и нежность,
острота и влажность.

Высокая температура
под мышкой, а в голове
лёд, наколотый лёд.
Леденит, лубянит,
пропасть не даёт,
ни взад, ни вперёд.

Складываешь в копилку
всякие штучки, конфетки, цитатки,
стеклянную пуговку, пятизубую вилку,
всё, до чего в состоянии дотянуться.
Не сойти мне с этого места!
С наблюдательного поста.
Ничем не выдать волнения,
просто признаков жизни.
Собирать коллекцию,
рассматривать, гордиться.
Вдруг что-то и пригодится.
Вдруг кто-нибудь похвалит:
хороший вкус,
хороший тон.
А без похвалы и халва не халва,
а так, сладкая вата.



Я наблюдатель с линзой в каждом глазе.
Смотреть и слушать, будто пить и есть.
Мне всё красиво, каждое уродство
во всем задор, изгиб и благородство,
и в каждом мне сюжете есть печаль,
и в каждом смех щекотный солонистый
и в каждом нежном промахе – любовь,
и сила в каждом точном попаданье.

Везде в углу есть место для меня
пункт наблюдательный, творительный, падежный.
где сзади тыл, снаружи горизонт
посередине толчея, кипенье,
где вещества сменяют вещества,
покрыты пухом нежности едва...

Проснусь с утра, расправлюсь по утрам.
Настрою линзу, тряпочкой протру,
и диафрагму чёрную расправлю.
Я начинаю ласковую ловлю
событий, человеков и времён.
Меня поймут, кто болен и влюблён.
Хотя мне по фиг это пониманье,
всё, что мне застит время и вниманье,
и зренья щуп, болезненный, тугой.
Набыченный, изогнутый дугой.
Уже другого никогда не будет.
И этот убывает
и убудет.



Вот озеро цветёт и плодоносит
копчёной рыбой, драгоценной негой,
кувшинкой жёлтой, пеной кружевной,
варяжским строгим пепельным песком

Мы не встаём из пластиковых кресел,
бежим уключин, избегаем вёсел.
Вон нам несут на жостовском подносе
тугие звоны здешних колоколен.

Тут всяк насыщен, весел и доволен,
по телу белому бежит речная зыбь,
Хотя вокруг болота пересохли,
горят торфяники, пружинят как матрасы.
А нам не страшно, мы-то присосались
к бесстрастной и устойчивой воде.
Мы застолбили этот водопой
и затаились, словно мы нигде...

Нигде, никто, и домовые книги
имеют вместо нас большие фиги.
И тяжкий пук грохочущих ключей
лежит на дне, безмолвный и ничей.



Идут моленья о дожде.
Белёсому не рады солнцу,
обречены дождя дожждаться,
мы в небо синее глядим.

Нас беспокоит эта осень.
Избыточная синь и ясень.
Природа слишком мягко стелет
пружинный торфяной матрас.

Пошто укладывает нас?

И небо наше как картонка,
оно засохло-заскорузло.
Сипит, поскрипывает тонко,
вздываются его мембранки.

И всюду тонкий тихий дым.

В Москве лютует бабье лето.
Прогноз уходит от ответа.

Довольно болдинского рая,
хрипит природа, умирая.

На небе кончилась вода.
Дождя не будет никогда.

На что, говорит, жалуетесь.
Смотрит в упор, будто и впрямь интересно.

Аллергия, миопия?
Повышенная чувствительность?
Пониженная возбудимость?
На ногах перенесенная судимость?

Разденьтесь, говорит не глядя.
Совсем, – розовею, – раздеться?
Так розовею, что плохо разумею...
Достаточно, говорит, до пояса.

Ну, если вам этого достаточно...

...поцелуй фонендоскопа,
рукопожатие тонометра...
Ложитесь, говорит, на кушетку.

Разуться? – спрашиваю с надеждой.

В мягком животе – стандартный набор.
Не жмёт, не болит, не колет.
Разве что сосет под ложечкой,
тихенько, тоненько –
вот тут, доктор.
Так больно? – тычет толстым пальцем
в красную распухшую лягушку ноги.

Вой пожарной сирены.

...Рентген проявит куриные косточки боли.
Заворачиваю, спелёнываю
свою горемычную ногу.
Милый доктор! Делайте со мной что хотите,
только умоляю,
заклинаю вас,
не запрещайте мне,
позвольте мне
пить красное вино.
Куда я без него?
Что я без него?
Так, дистиллированная водица,
жалкое пресноводное
скулящее, живородящее,
ноющее, сущее,
простотакживущее.

Памяти пирожковой

Мой левый профиль смотрит на коллег,
а на Рождественку мой смотрит правый профиль.
Мой позвоночник смотрит в небеса
макушкой, темечком, залысинкой укромной.

(Как просто быть приветливой и скромной,
когда тебя не трогают в ответ.)

Когда же гонг зовёт нас на обед,
мы разбегаемся по ямкам и кормушкам.
А я так в пирожковую одну,
где три старухи правят пирожками,
где в баке металлический бульон,
где пирожки смугляются и круглятся,
и где столы как бледные поганки
на тонких жидких зиждутся ногах –

не устаю на это умиляться.

А лица пирожковые простые
надёжно крепятся к простой рабочей вые,
и ничего не выражают лбами,
и сумрачно работают губами.

Здесь женщина с лицом в тончайшей сетке
подкладывает в вазочку салфетки:
такие тонкие, бедняцкие, скупые,
что намокают,
не донесены
до жирных губ
блестящих подбородков
до плоских бледных чавкающих глаз.

☞

Безобразная сцена: швыряет в глаза
свой просроченный порох сухая гроза.
В бледном блеске линиялого света
гаснет титр: закончилось лето.
Но ещё леониды в прореху небес
крупной солью просыплются прямо на лес.
И ещё паутина свои кружева,
под крахмалом мороза жива не жива, –
нам растянет и бросит под ноги:
подвиг девственницы и недотроги.
...Августейшая горечь, монаршая статья.
Будем чествовать август, любить, отпевать.
Торфяным запивать его чёрным винцом
и закусывать бешеным огурцом.

3.

Татьяна Риздвенко ☞ Стометровка



Угли, угли поседели,
Белый пепел, серебро.
Если дунуть посильнее –
в углях теплится тепло.
Жар раздуть во тьме крошечной,
кочергой поворошить.
Стаю маленьких синюшных
огоньков растормошить.
Засверкало в чёрных углях...
Будем греться и смотреть.
Ничего, что ненадолго.
Дунуть, плюнуть, растереть.



ОРЗ, говоришь,
говоришь, ОРВИ.
Юркий вирус обосновался в крови.
В этих – как их – дыхательных верхних путях.
И сначала кажется, что пустяк.
А потом начинаешь себя жалеть...
Болезнь – по-человечески хочешь болеть:
под пледом, с малиной, прохладной рукой
на лбу горячем, чтоб только жар и покой;
занавеси спущены, наволочки хрусткий лёд.
Кто-то скажет ласково: скоро пройдёт!
Жаркий кокон уютный детский болезный.
Усваиваешь, что горький значит полезный.
Что когда ты болеешь, тебя любят жарче.
На любое движение:
что тебе надобно, старче?
Надобно: замереть, не становиться старше,
самостоятельнее, значительнее, умнее.
С возрастом лекарства становятся горше,
а болеть становится всё больнее.
И романтики ноль, и уюта ни капли.
Сам себе, отсчитывая, закапываешь капли.
Сварить тебе морсу? – спрашиваешь у себя же. –
Надо больше пить: жидкость вымывает заразу!
Но перестаёшь разговаривать, раз от разу
к больному всё суше относишься и строже...
Лучшие сантименты – медикаменты.
Надёжнее ласки и щебета – самоконтроль.
Любовь к ближним начинает приносить дивиденды.
Говоришь, стакан воды тебе? – Вот, изволь.



Лежала на полу, поверх дитя бродило:
переступало, делало массаж.
Я ж ухом на ковре, про нижний наш этаж
узнала всё, что там внизу происходило,
Мне не хотелось жизнью знать чужих,
но, вниз лицом, я погрузилась в них,
в ушаты тайн и ругани ужасной –
и заливалась краской рдяно-красной.
Закончили.
С трудом поднявшись с полу
и опуская очи долу,
благословляю толщину ковра
и межэтажных перекрытий
за редкость вот таких открытий...
Но, с благодарной негою в спине,
я тайну схороню во мне.



Как трава, растущая сквозь нас,
дети милovidные повсюду...
Удобряя их весёлый рост,
мы пластаемся культурным слоем...

Дети, дети! Это ради вас
мы здесь вырождаемся как класс...
Дети, дети. Это вас во имя
мы мозгами жертвуем своими,
претворяясь в воду и кефир:
поливать цветущий детский мир...



Обучаю дитя Винни-Пуху.
Внушаю детскому зренью и слуху
мультипликацию, милоту.
Заходера и Милна
плод предъявляю умильно:
простодушных
медведя и пятака,
прагматика-кролика,
ипохондрика-осла
предъявляю в июле,
14 числа.
Видь: пчёлы, шарики, зонт, ружьё!

Всем видом показывает: не моё!
Ёрзает, отворачивается,
норовит улизнуть,
с высокого стульчика соскользнуть.

Не доросла, догадываюсь,
не доросла
до Пуха, Совы, Пятачка и Осла.

Вводит постепенно,
по чайной ложечке,
как прикорм,
заповедник радости
с Пухом и Пятаком.

Погодить,
пока на горшок не начнёт ходить.
Горшок пустой –
предмет непростой.
Сложный, непостижимый.

...Малыши ли, думаю,
инфантильные ли старички –
зверики, Ослики и Пятачки.
хлопочущие,
лопочущие,
вгостиходящие,
неигрушечные,
настоящие.



Каникулки, морозный витамин.
Морозный дзен,
ни планов, ни проектов.
Мы выпали в прореху декабря...
Обочина забвенья:
замело
тебя, меня и весь наш детский садик.
Мы не должны,
ни затемно, никак.
Бензин да антифриз – и вся аптечка.
Я превращаюсь
в круглого, с пятак,
румяного простого человечка.
Движеньё – жизнь,
Москва – дыра,
баранка – руль,
слова –
игра.



Такая нежность, нежность к миру.
За слабость мяса и костей,
за эти яркие на сером
румянцы страхов и страстей...

За то, что трут глаза перстами,
роняют крошки в бороду,
за смех – особенно, особо! –
и за другую ерунду.

Как увлекательно и сладко
любить, вмещать и замечать,
и ставить каждому на лобик
неразличимую печать.



Однажды уток отравили,
какой-то синькой напоили,
какой-то дрянью соблазнили.

И синеватые тела
вода пустая понесла,
к крутому берегу прибила
и для просушки разложила.

А мне – а мне какое дело,
какого цвета это тело?!
Какого цвета эта птица,
природы ветхая частица...

...Уроки химии для деток
с батонами для дохлых уток.

...и в целом вид пруда без уток
не стал пугающ или жуток...

Жизнь продолжается и скачет.
Все морщатся.
Никто не плачет.

На смерть мультипликатора

Четыре ангела скорбящих:
две щуплых девочки в слезах,
два парня в чёрном в красных пятнах...

Пьета – поэту сдобный пир,
элегия, любовь и сила;
художнику прорыв, находка,
печальных пятен урожай.

А где ж виновник торжества,
зачинщик скорби, маг печали?
Глядит на это свысока –
с неблизкого ночного неба,
своей улыбкой полнолунной
подсушивает слёзы на
щеках девичьих и ладонях...

Ушёл – взлетел и улетел,
оставив тело на кровати
больничной скорчившись лежати.
С недвижимой правой рукой
не захотел существовати,
и бессловесным языком.

И нет его, уже далече.
А эти сироты стоят,
понутив головы и плечи
полны утраты как баржи,
и так же тяжелы и слепы.

...Самих себя тащить-бурлачить
и больше ничего не значить.
О, сирот...,
тёмное сиротство...
вдовство души... –
во что его переиначить
и применить его, – скажи?!!

В мультфильм.
Вот лучшая пилюля!
Закапсулирована скорбь,
отретуширована мука, –
и взрослых зрителей надули,
и не обидели детей –
весёлой роскошью затей
не обделили...

Довольны все, и грустный автор,
и бестелесный адресат –
виновник слёз, зачинщик скорби,
главарь утрат.
Аманов Агамурад.

☞

Эйфория раздувает меха.
Ты идёшь. Ты свободен. Ха.
Пьёшь московский полдень, смакуешь день:
каков и в чём его светотень.
Непохожесть вторника на четверг,
несходство воздуха,
кромка погоды,
неслышное присутствие природы.
Люди, идущие поперёк:
в парк, в магазин, в ларёк,
и даже в кино, где тебе одному,
попкорн насыплют, включат кино.
Смотреть в одиночку (узнай, каково),
тянуть до последнего титра,
до капли, до миллилитра.
На улицу выйти, а там – нет –
всё ещё свет.
Белый, дневной, твой.

Содержание

Неспешность и скорость,
Или домашнее задание самому себе
Виталий Лехциер

5

1. Вспышка света в темном ц...	11
О, яблоко, хватательный рефлекс...	12
Мне тихих наслаждений череда...	13
Собиратели нежности...	14
Так яблочно – почти не проникает...	16
...Коль яблоко взялось коричневеть...	17
Авантюризма капля, гран...	18
Бессонница как норма – привыкай...	19
Романс	20
Оля Романова – имя безликое...	21
2. Всё станет предметом стиха...	23
...Совсем уже взрослый мальчик...	25
Странно начинаться на букву Ф...	26
Заноза зависти, восторг и укоризна...	27
Всех заразил, всех перепортил...	28
Телесность пуговок и пряжек...	29
Плечи – не узкие, не худые...	30
Вот стометровку школьницы бегут...	31
Кому омела и чабрец...	32
Если яблоко – строгость и польза...	33
Как мы блины, как нас блины, как я...	34
Меж Заходером и Сапгиром...	35
Азбука	36
Поцеловала машина...	37

Женщина объедается тортом...	38
Вскакивает ночью...	39
Солнце вывалилось из-за туч...	40
Хрустальный куб, налитый дымом...	41
Сентябрь	42
Такая зима наступила жемчужная, розовая...	43
Наблюдательность и нежность...	44
Я наблюдатель с линзой в каждом глазе...	45
Вот озеро цветет и плодоносит...	46
Идут моленья о дожде...	47
Говорят...	48
На что, говорит, жалуетесь?...	50
Памяти пирожковой	52
3. Безобразная сцена: швыряет в глаза...	53
Угли, угли поседели...	54
ОРЗ, говоришь...	55
Лежала на полу, поверх дитя бродило...	56
Как трава, растущая сквозь нас...	57
Обучаю дитя Вини-Пуху...	58
Каникулки, морозный витамин...	59
Такая нежность, нежность к миру...	60
Однажды уток отравили...	61
На смерть мультимпликатора	62
Эйфория раздувает меха...	64

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Р 49

Р 49 РИЗДВЕНКО Татьяна

Стометровка: стихи. – Самара, 2013 – 68 с.

Поэтическая серия «Цирка «Олимп»+ТВ

В серии в 2012–2013 гг. изданы:

Александр Ожиганов

Утро в полях. Девятая книга. – Самара, 2012. 80 с.

Александр Макаров-Кротков

Отредактированный экспромт. – Самара, 2013. 80 с.

Сергей Лейбград

Стеклопанельная мгла. – Самара, 2013. 64 с.

Виталий Лехциер

Фарфоровая свадьба в Праге. – Самара, 2013. 94 с.

Всеволод Некрасов

Самара (слайд-программа)

и другие стихи о городах – Самара, 2013. 98 с.

Издание подготовлено:

Татьяна Риздвенко (автор, составитель)

Юлия Рогатина (дизайн, вёрстка)

Тамара Кузнецова (корректур)

ISBN 978-5-906607-09-6

Подписано в печать 03.10.2013
Формат 60x90/16. Объём 2,5 печ. л.
Гарнитура Minion. Бумага мелованная
Печать офсетная. Тираж 300 экз.
Заказ №3677

Отпечатано в типографии ООО «ДСМ»

Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, e-mail:dsm@dsm-print.ru